



Пётр Лизогуб

Таких, как Пётр Лизогуб, принято называть подвижниками. Пётр работает в системе музеев, а музеи – это, как известно, хранилища всяческой истории. И Пётр всю эту историю собирает, хранит, анализирует... То есть занимается тем, за что ему, собственно, и платят жалование. И всё равно он – подвижник. В музеях работает много всякого народа. Есть и такие, которым вся эта историческая старина совсем не интересна. Чиновники, одним словом. Ремесленники. А Пётр Лизогуб выдает на-гора (то есть публикует) превеликое множество всяческих исторических фактов, документов, комментариев. Историю надо знать. Без истории мы – не граждане и вообще не люди. И вот, значит, Пётр Лизогуб помогает всем нам быть гражданами и людьми. Великая, почётная и многотрудная миссия у Петра Лизогуба. Добавьте к этому ещё и незаурядные литературные способности Петра, и вы поймете, что иначе, чем подвижником его и назвать-то невозможно.

Дорогие читатели! Всех нас ждёт долгожданное и радостное событие – встреча с впервые публикуемыми воспоминаниями В. Ф. Булгакова о Кузнецке.

Новокузнецкому читателю нет нужды представлять нашего выдающегося

земляка Валентина Фёдоровича Булгакова (1886–1966), уроженца Кузнецка, замечательного литератора и музейного деятеля, последователя и последнего секретаря Льва Толстого, в течение всей жизни остававшегося преданным идеям своего великого учителя.

Литературное наследие самого В. Ф. Булгакова раскрывает его и как талантливое и кропотливое мемуариста, последовательно изложившего свою жизнь в масштабной эпопее воспоминаний под говорящим названием «Как прожита жизнь». До сих пор этот комплекс воспоминаний, создававшийся в течение 1950-х – первой половине 1960-х годов и содержащий в себе важные подробности не только о жизни и деятельности самого Валентина Фёдоровича, но и о его выдающихся современниках, практически не известен широкому кругу читателей. Хранящийся в московском архиве этот комплекс долгое время не привлекал внимания исследователей¹. Для нас, земляков В. Ф. Булгакова, особый интерес, безусловно, представляет первая часть мемуаров писателя, содержащая описание его детства, проведённого в Кузнецке. Яркие и подробные впечатления автора о своём родном городе, повествование о его жизни превращаются для нас, современников, в бесценные свидетельства прошлого. Многие события, описанные В. Ф. Булгаковым, уникальны и не упоминаются в других мемуарных источниках, среди которых в первую очередь необходимо выделить воспоминания младшего брата Валентина Фёдоровича – Вениамина, увидевшие свет в 1991 году под названием «В том давнем Кузнецке...». При некоторой общности воспоминаний каждого из братьев Булгаковых (что вполне

¹ Выпущенная в 2012 году издательством «Кучково поле» книга воспоминаний В. Ф. Булгакова под общим названием «Как прожита жизнь» включает в себя только 5 из 26 частей мемуаров писателя. При этом изданные части не охватывают «кузнецкий период» жизни Валентина Фёдоровича.

объяснимо – речь идёт об одном и том же месте и времени) мемуары Валентина и Вениамина значительно различаются по стилистике изложения материала. Если воспоминания Вениамина, созданные по просьбе сотрудников Сталинского (ныне – Новокузнецкого) музея в начале 1960-х годов, были ориентированы в первую очередь на молодое подрастающее поколение советских детей, то мемуары его старшего брата предназначались для взрослого читателя.

Воспоминания написаны прекрасным литературным языком настоящего русского интеллигента, сочетающие в себе сочность языка с редкой выразительностью слога, что само по себе уже превращает чтение булгаковских мемуаров в подлинное эстетическое удовольствие.

Настоящая публикация в силу ограниченности журнальной площади включает в себя только третью главу первой части воспоминаний под названием «Родной город».

Публикация подготовлена
П. П. ЛИЗОГУБОМ

В. Ф. Булгаков

РОДНОЙ ГОРОД

В Кузнецке той поры¹ насчитывалось 3000 жителей. Городок разделялся на четыре главные части: нагорную, где жили мы; подгорную с Форштатом (да-да, у нас, в Сибири, так и говорили: «Форштат»); Слободку и Под камнем. Северной стороной город примыкал к довольно высокому, продолговатому горному гребню так, что последние городские домики уже забежали на южный склон этого гребня. Горный гребень охранял весь город от северных ветров и, по-

видимому, в значительной степени способствовал тому, что климат кузнецкий отличался сравнительно большой мягкостью. Наглядным проявлением особых свойств климата нашего города является то обстоятельство, что изо всей Сибири только у нас в Кузнецке растёт или, по крайней мере, росла до Мичурина липа. Она, кажется, и ботаниками так и называлась: «кузнецкая липа». Солнца в сухой Сибири, вообще, много: в Кузнецке же с его горным щитом с севера наблюдается явление, называемое в горных странах (в Швейцарии или в горной Австрии, например) «инсоляцией» и состоящее в том, что солнечная энергия как бы задерживается, накапливается в защищённом с севера месте. В 90-х и 900-х годах в Сибири ещё мало занимались гигиеной и бальнеологией, и, однако, уже в то время за Кузнецком нашим были повесть места с исключительно здоровым и в особенности благоприятным для лёгочных больных климатом.

Примыкавшее к горному гребню пространство, в свою очередь, составляло большую террасу, на юге заканчивающуюся крутым обрывом. Вот на этой-то террасе и расположен был Кузнецк нагорный, а внизу под обрывом – подгорный. Слободка, отделённая глубоким рвом, через которую перекинут был мост, составляла восточный край города и находилась на одном уровне с нагорным, а местность Под камнем на западе – с подгорным Кузнецком. Кварталы Под горой и Под камнем омывались уже рекой Томью, большим полукругом охватывавшей город с юга и запада. У самого города река образовывала рукава или «протоку», называющуюся Иванцевкой; слева же, с юго-запада, в Томь впадал довольно значительный приток её – река Кондома. За обеими этими реками далеко на востоке и на юге и совсем близко на западе подымались горы. Западные горы, особенно высокие и внуши-

¹ Речь идёт о второй половине 1880-х – 1890-х годах (здесь и далее – примечания публикатора).

тельные на вид, именовались Соколовыми горами. На самые вершины их я не подымался, но по другую сторону этих вершин – в деревнях Осиновке, Березовке – бывал.

Все названные мною части города, как и все его окрестности, наверное, существуют и теперь, но говоришь об этом невольно в прошедшем времени, потому что через несколько десятков лет и из-за нескольких тысяч километров воспринимаешь родной Кузнецк как какой-то прекрасный и навсегда исчезнувший сон.

Улицы в городе были широкие и по краям заросшие травой. Над заборами подымался высокий бурьян: крапива, коровник, белена. Ни мостовых, ни тротуаров не существовало. Летом – пыль, и в безумной жаре свободно и бешено носящиеся по городу и жадно ищущие тени коровы и тёлки с задранными кверху хвостами. Для детей они были небезопасны, точно так же, как и вольно бродившие по городу пущенные «попасться» кони. Пяти- или шестилетним ребёнком мне вздумалось однажды подойти к табунку лошадей, спрятавшихся от жары в тени под окнами нашего флигеля, и дёрнуть ближайшую из них за хвост. Результат не замедлил воспоследовать: сокрушительный удар копытом по голове – словно удар молнии. Я не почувствовал, однако, никакой боли, ибо в ту же секунду лежал уже без чувств на земле. Очнулся я только в своей постели под кисейным покрывалом, защищавшим меня от мух. Удар копытом оглушил меня, рассёк бровь, но, к счастью, не повредил глаза. Уже не помню, сколько я времени тогда провалялся.

Осенью в дождь город погружался в непролазную грязь. Зимой его заносило снегом. Но дома, одноэтажные и двухэтажные, были опрятны и уютны как снаружи, так и внутри.



Валентин Булгаков

Дома, за отдельными исключениями, были все деревянные со ставнями, с резными наличниками окон, с украшенными резьбой воротами. Перед домом почти всегда имелась «лавочка» (и у нас такая была), т. е. скамья, на которой граждане и гражданки кузнецкие мирно посиживали в тихие летние вечера, глазели на редких проходящих и проезжающих и грызли семечки подсолнухов или кедровые орешки.

Особенно красив и импозантен был большой двухэтажный деревянный дом городского старосты Попова: весь в резьбе и прихотливо раскрашенный. И я, и другие дети всегда им любовались. Я знал, что дом и внутри обставлен прекрасно, по-барски. Достаточно сказать, что в числе многочисленных комнат поповской квартиры числилась бильярдная с собственным большим бильярдом. Ценных художественных произведений в доме, думаю, всё же не было: мы, сибиряки, тогда не доросли ещё до этого. Дом городского старосты стоял Под горой, у подошвы обрыва, отделяющего нагорную часть от подгорной. Под обрывом протекал ру-



Братья Булгаковы
Николай, Вениамин, Валентин

чей с болотистыми берегами, а по обе стороны этого ручья Попов разбил большой с правильно расположенными дорожками живописный и полный цветов лучший в городе сад. В саду была беседка с золотой арфой на крыше – явление для Кузнецка необыкновенное, и нас, детей, исключительно привлекавшее и занимавшее.

Кроме хорошего дома, сада и рысаков, выславшихся навстречу посещавшему город архиерею, у Степана Егоровича Попова была еще красавица-жена, Елена Васильевна. Сам Попов, даже и в пору моего детства, был уже весьма пожилым человеком, с длинной чёрной с проседью бородой. Жена же его, Елена Васильевна, оправдывая своё имя (Елена!), была, действительно, так прекрасна, так стройна, отличалась таким нежным цветом и такими правильными чертами молодого, гордого и в то же время приветливого лица, что даже мы, восьми- и десятилетние ребята, невольно на неё заглядывались, как на картинку. И манеры у Елены Васильевны были полные достоинства и изящества. Из кузнецких барынь никто не осмеливался отрицать красоту Елены Васильевны Поповой, но так как надо же было найти у кузнецкой «первой дамы» хоть какой-нибудь недостаток, то говорили, что всё-де в ней хорошо, но вот только

рот она держит почти всегда открытым. А мне лично так всегда нравился этот иногда полуоткрытый, прелестный ротик с едва видными из-за алых уст правильными дужками белых, ровных зубов. Одевал городской староста свою жену, как куколку, нет – как королеву! По вечерам он сам катал её в двухместном рессорном шарабана на одном из своих рысаков по городу. Маршрут их захватывал и нашу улицу. По мягкому клёкоту рессор я всегда заранее знал о приближении поповского шарабана и, бывало, непременно выбегал за ворота, «на лавочку», чтобы полюбоваться и Еленой Кузнецкой, и внушительной лопатообразной бородой её мужа, и гордым рысаком.

На моё счастье, Елена Васильевна была прихожанкой Богородской церкви, той самой, где я прислуживал в алтаре, и я мог видеть её, пышно одетую, впереди всех богомольцев перед правым клиросом каждое воскресенье...

Детей у Поповых не было. В городе говорили, что Елена Васильевна не была счастлива в супружеской жизни. Увы, известно, что богатство счастья не заменяет!.. Но она была верной женой, а Попов был исключительно корректен как муж. Позже стали, однако, называть лицо, будто бы обратившее на себя благосклонное внимание красавицы. Через много лет, когда Попов умер, я узнал, что Елена Васильевна соединила свою судьбу или остатки её с судьбой этого лица.

Кстати, на Елене Васильевне С. Е. Попов был женат вторым браком. Первая покойная жена его была в 1886 году моей крёстной матерью. Я иногда посещал её могилу с красивым памятником за изящной чугунной решёткой, составлявшей тоже редкость у нас в Кузнецке. Кладбище вообще служило для меня источником эстетических, столь немногочисленных и жалких в Кузнецке впечат-



лений: там был ряд более или менее примечательных мраморных или чугунных памятников на могилах богатых купцов и чиновников. И надписи попадались интересные: то стихотворные (как у Сани Панова), то с перечислением орденов и чинов. Красивый чугунный памятник стоял на могиле первой жены отца. Польские надменно-высокие кресты заполняли один ряд кладбища. В старой Успенской одноэтажной кладбищенской церкви иногда отпевали покойников, и тогда я не упускал случая заглянуть внутрь: приземистая, низкая, она отличалась этим от других кузнецких церквей и создавала какое-то особенное настроение.

Красивы были в Кузнецке Спасо-Преображенский собор, построенный в некоем подобии классического стиля, и Богородская церковь, где с какими-то невнятными намёками на готику мешались элементы стиля древнерусского. В обоих храмах привлекала столько же их внешность, сколько и внутренняя отделка: красные иконостасы, резные царские

врата, старинные паникадила, живопись под куполами. Когда я теперь, созревши, хочу задним числом определить, что было абсолютно прекрасного в наших храмах, то мне в первую голову припоминаются царские врата в верхнем этаже не существующей уже ныне Богородской церкви: отличная позолоченная резьба из дерева, изображающая виноградные гроздья и листья, в духе Ренессанса. Красива была подчас и церковная утварь: роскошные переплеты Евангелия, дарохранительницы, ризы. Если иконная живопись в общем и не представляла из себя ничего выдающегося, то подчас поражали своим великолепием иконные ризы – серебряные, позолоченные, с драгоценными камнями, отличной чеканки. Нас, детей, занимали и колокола: мы точно знали, сколько пудов какой колокол весит (например, большой колокол в соборе весил 200 пудов), любовались литыми изображениями святых и причудливыми надписями славянской вязью по округлому краю колоколов. Форма крестов на цер-



ковных макушках тоже занимала нас, а может быть, только меня одного, не знаю...

Наши кузнецкие церкви были – по-сибирски – двухэтажные. В нижнем, низком и отапливаемом этаже, служили зимой, а в верхнем, высоком до купола и не отапливаемом, служили летом. Самый переход из летнего помещения в зимнее и обратно всегда овеян был для меня, как алтарного служки, своеобразной поэзией. Спуск поздней осенью из захламленного верхнего этажа церкви в более интимный и более уютный нижний, с потрескивающими в жарко натопленной печке дровами, обещал какую-то защиту, покой, приют, тепло душевное и телесное. А по весне переход из-под начинавшего уже прижимать низкого потолка в огромный, просторный, со стремящимися ввысь, под купол, линиями, полный света и воздуха и солнечных лучей верхний храмовый этаж тоже радовал бесконечно, точно взлёт, точно символ воскресения и обновления душевного.

Одна – четвёртая и последняя из

церквей – стояла высоко на горе, ограничивавшей и заслонявшей город с севера. И стояла не сама по себе, а как бы выросши из грандиозного массива старинной, сложенной из дикого серого камня крепости с пушками. Эта крепость, воздвигнутая, как мне после говорил сибирский историк и археолог профессор Ст. Кир. Кузнецов, пленными шведами, сосланными в Сибирь Петром Великим после Полтавской победы, являлась, несомненно, главной достопримечательностью города. Она занимала почти всю длинную верхнюю площадку горного гребня, возвышающегося над городом, оканчиваясь круглым бастионом далеко на западе, над рекой, но только противоположная, восточная её часть достигала высоты в несколько сажен и привлекала внимание монументальностью постройки. Острые, скошенные сверху вниз углы, арка высоких ворот, выходявших на дорогу из Кузнецка в Монастырь, заржавленные пушки начала века на низких колёсах, видневшиеся кое-где на стенах,

приземистая церковка, перестроенная из старинной башни, – всё это вдруг вносило столько романтики в малокультурный, дикий сибирский пейзаж.

Кузнецкая крепость фигурирует в том первом сознательном младенческом впечатлении, в том воспоминании о пожаре города, о котором я мельком здесь упомянул. К этой крепости, именно, идёт пологий подъём для экипажей от города в гору, подъём, высеченный вдоль склона горы. Дорога заворачивает потом наверху за угол крепости и уходит дальше в Монастырь.

Первое же младенческое впечатление было такое. Ночь. Множество экипажей с кладью и людьми медленно подымается в гору. Глубоко внизу, направо – пожар. Налево – срез горы и высокая стена, стена крепости, освещённая неровным полыхающим заревом пожара. Я, укутанный с руками и ногами, сижу у кого-то на руках на одном из возов и наблюдаю всю эту необычайную, мрачную и фантастическую картину. Круп лошади, освещаемый порой вспышками ночного пламени, и чёрный силуэт дуги выделяются передо мной из общего, хаотического фона стихии...

Я родился в конце 1886 года. Кузнецк горел что-то не то в 87-м, не то в 88-м. Имело ли место то, что я описываю, в действительности, или это только игра моего воображения, не знаю.

В течение всей моей жизни крепость оставалась для меня главным историческим памятником и как бы символом, эмблемой Кузнецка. Приезжая после из Томска на летние каникулы, я, бывало, первый взгляд кидал всегда на крепость: «Ага, стоит! Ну, значит, и Кузнецк стоит, и всё благополучно!»

...Мать любила иногда зимой прокатиться со мной по городу на санях. Запрягут нашего быстрого Воронко, усядемся рядом с милой, молодой ещё, свежей, веселой и, чувствую, полной любви ко мне и счастливой этой любовью мамой в лёгкие сани, накрою ноги тёплой, отороченной медвежьим мехом полостью² и весело катим по улицам города: Воронко развивает всё большую и большую резвость, полозья скрипят по снегу...

...Мы – Под горой. Уже возвращаемся. Снежок порошит. Воронко бодро пофыркивает. Гляжу перед собой – и там, высоко на горе, сквозь красивую, лёгкую завесу медленно падающего снега вижу силуэт крепости. Отдельные звёздочки-снежинки падают на лицо, на рукава, на полость. Я чувствую присутствие матери, прижимаюсь к ней и ...хотел бы замереть, чтобы не нарушилось очарование действительности, прекрасной, как сон, чтобы не улетело счастье.

Наша крепость должна была защищать и, вероятно, защищала в старину город от монгольских набегов. В пору моего детства она была уже упразднена и сохранялась лишь как археологический памятник. Впрочем, внутри её, окружённая особым, высоким бревенчатым частоколом, помещалась городская тюрьма или, как в городе говорили, острог или «замок»: продолговатое, низкое одноэтажное здание. Рядом с «замком» стояла деревянная часовня с большим старинным, относящимся к эпохе Петра Великого деревянным распятием внутри. Раз в год, именно в праздник Вознесенья, ворота тюрьмы распахивались, открывалась и часовня, обычно запертая, из города

² Полость – покрывало для ног седока в экипаже.

совершался на Крепостную гору крестный ход, во дворе тюрьмы и в часовне служились молебны, причём все арестанты в белых, холщёвых штанах и коротких куртках выводились из тюрьмы, выстраивались в два ряда на дворе под присмотром часовых и с обнажёнными головами слушали молебен. Народ совал им булочки, деньги и другие гостинцы, а двое или трое из арестантов занимались распродажей разложенных на столах тюремных изделий: плетёных корзин, сумочек, портсигаров, коробок, детских игрушек и т. д. Сколько раз, бывало, в день Вознесенья проникал я вместе с толпой богомольцев за тюремную ограду, вглядывался в грубые, пожелтевшие от недостатка воздуха лица арестантов, разглядывал их изделия, пробирался в старинную часовню, чтобы взглянуть на петровский крест, вслушивался в молитвословия и пение священников... Создавалось какое-то особое настроение, будто мы, пришедшие, открывали какой-то новый мир, лежавший тут же около нас в нашем милом, старом Кузнецке, но до сих пор, однако, нам незнакомый.

Нам, детям, в обычное время вход закрыт был только в тюрьму, за бревенчатый частокол, вдоль стен которого похаживали молодые солдаты с ружьями на плечах, но в остальные части крепости и на каменные стены её мы проникали и забирались беспрепятственно: то через ворота, если они случайно были открыты, то через одну известную нам лазейку в том месте, где крепостная стена была пониже и где некоторая часть камней обвалилась. Мы любили бродить внутри крепости по травке вдоль старинных стен или сиживать верхом на пушках, на самых возвышенных частях укреплений и, побалтывая в воз-

духе босыми ногами, любоваться на открывавшийся перед нами редкой красоты и широты вид.

Весь городок лежал под ногами, чернея и зеленея крышами. Хотелось, прежде всего, найти свой родной дом, что нам тотчас и удавалось. Собор, Богородская и кладбищенская церкви, а также каменные здания училищ, казначейства и двух-трёх частных домов резко выделялись своей белизной и величиной из серой, однообразной массы низких деревянных, потемневших от солнца и дождей домиков и заборов. Далеко на юге, за городом, виднелась чёрная купа высоких деревьев: мы знали, что эта купа расположена у деревушки Абинцы с остатками туземного, инородческого населения племени «абинцев». Налево, на востоке, за кладбищем маячили низкие холмы, за которыми лежала деревня Фиски. На западе же, направо от нас, за высокой белой башней собора расстилалась чудная картина сплетения трёх змей-рек: Томи, Кондомы и Иванцевки, с тополиной рощей – «Топольником» – на большом песчаном острове между главным руслом реки Томи и её «протокой» и с величественными, покрытыми лесом Соколовыми горами. Ах, как вольно и счастливо дышали мы наверху, созерцая родную картину!..

Полюбовавшись, мы углублялись в горы. Шли по косогору, по протоптаным козами и коровами тропинкам, вдоль журчащего ручья на болото за камышом. Собирали весной землянику, осенью – «боярку». Из ягод боярышника мы слепивали большие комья-шары и, разведя тут же в поле костёр, поджаривали эти комья и ели. Искали и выкапывали сараний глубоко сидящий в земле, жёлтый, вкусный, мясистый корень,

местонахождение которого легко было определить по красовавшемуся наверху изящному розовому цветочку. Наконец, собирали цветы, которых было множество в окрестностях Кузнецка и о которых я никогда не могу вспоминать равнодушно. У нас цвели вольно, в диком виде огромные, хоть и не махровые красные пионы (Марьины коренья), прелестные оранжевые огоньки, синие ирисы, шарообразные орхидеи – розовые и жёлтые (кукушкины сапожки), белые и фиолетовые подснежники, жёлтые ветреники, травка-муравка (красные примулы) и другие цветы, многих из которых я нигде потом ни в России, ни за границей не встречал, за исключением ... Швейцарии. Там в окрестностях одного маленького города, кажется, Флавила я вдруг совершенно неожиданно для себя наткнулся в мае месяце 1933 года на множество чудных, душистых, ярко-оранжевых настоящих сибирских, кузнецких огоньков. Я просто обезумел от радости. Много лет не видал я огоньков, не вдыхал их аромата. Набрал огромный букет и, хотя в тот же день должен был покинуть городок, ибо находился в лекционной поездке, но расстаться с этим букетом всё-таки не хотел. Переезжая из города в город, я всюду возил его с собой: в вагоне железной дороги ставил его в стакане с водой на откидной столик у окошка, удивляя видом букета вновь входивших на промежуточных станциях пассажиров, а на местах остановок тоже держал его в своей комнате, пока, наконец, он не отцвёл и не завял.

Удивительную картину представляли собой южные склоны наших гор весной. Лиловые и белые подснежники, чудные, мохнатые, тёплые с нежными лепестками и с золотыми

сердечками пахучие цветы, покрывали горы коврами: ковёр белый – ковёр лиловый, ковёр лиловый – ковёр белый... Заляжешь среди этих цветов: пчёлы жужжат вокруг, солнце слепит, чистый воздух напоён медовым ароматом... Умирать не надо! И о чём угодно приходят мысли, только не о смерти...

А с гор в это время бегут бурные потоки от тающего снега. Бегут прямо в улицы города и образуют там сверкающие на солнце ручьи и озёра. Большое озеро возникало каждую весну в нескольких шагах от нашего дома по Крепостной улице (прямо против этой улицы стояла на горе Кузнецкая крепость). Тогда мы строили плоты, связывая вместе по нескольку брёвен и досок, запасались длинными шестами и, храбро засучив штаны, отправлялись в «морские плавания» по озеру, пока ноги от холода не становились красными, как у гусей.

Почему-то всегда детьми встречали мы 1 Мая. Уж не занёс ли кто-нибудь из политиков в наш захолустный городок отголосок о европейском рабочем празднике? Не знаю. Мы во всяком случае в свои 8–10 лет ознаменовывали не успехи рабочего движения, а наступление весны. Всё ещё серо. Чуть кое-где зеленеет трава. Но медуницы уже распускаются, хоть и несмело. В оврагах и углублениях почвы – снег. Воздух в горах – чудесный. Настроение у нас – перво-сортное. На ручье, ведущем к болоту, наш стан. Сложенная из дикого камня печурка. Чай в котелке. Печёная в золе картошка с солью... Ах, как хорошо жить на свете!

Есть и другие места в окрестностях Кузнецка, куда мы совершали специальные экскурсии. Если, например, в конце лета двинуться в те же

горы по дороге, начинающейся за кладбищем, и отойти версты на три, то можно за самое короткое время набрать целые ведра чудных груздей. За реку в расположение деревень Сосновки и Берёзовки ездили мы на телеге за полевой клубникой: на просторных полях среди густой травы росло такое множество этой ягоды, крупной, сладкой и сочной, что за день мы набирали не ведра только, а целые кадушки, привезённые с собой на телеге. Езживали мы также за чёрной смородиной и за диким хмелем, из которого потом у нас варили домашнее пиво и чудный сладкий квасок с изюминками, называвшийся почему-то «кислые щи». На Булгаковскую пасеку, упразднённую уже, ходили мы с товарищами на ночь на рыбалку: спали у старого, глубокого озера, пригревая один бок у беспрерывно горящего костра, а из озера поутру извлекали удочками молодых карасиков. Не буду уже говорить подробно о пристрастии нашем к реке, к купанью. На песчаных или покрытых галькой берегах чудной, быстрой, глубокой и, как стекло, прозрачной Томи проводили мы летом едва ли не сплошь целые дни. Ловили окуней, ельцов, хайрузов³, пескарей. Когда были сами совсем маленькими, плавали на «пузырях», смастерённых из подштанников, на «греблях», т. е. больших вёслах от плотов, которых всегда много стояло вдоль берегов, валялись голые в песке и потом, как дикари, все вымазанные песком с ног до головы, бежали с диким рёвом в реку или же вылавливали из песка блестящие крупинки колчедана, который казался нам нисколько не менее красивым, чем золото. В конце концов, плечи и спины наши розовели, крас-

нели, бурели, покрывались пузырями от лучей палящего солнца, – ничего, переносили всё! Никаких кремов для смазывания кожи тогда ещё не знали...

Там же у реки искали мы, бывало, чайкины яйца в углубленищах-гнездах по песчаным насыпям, образованным на тополином острове весенним наводнением. Или же собирали в Топольнике с листов молодой прутьеобразной тополиной поросли зелёных шпанских мушек в бутылочки и несли их продавать за копейки еврейю-аптекарю, так забавно улыбавшемуся и так смешно выговаривавшему русские слова...

Под камнем, в тихих и мелких водах Иванцевки, бродили мы, засучив выше колен штаны, отворачивали потихоньку старые, заплесневелые речные камни и вилкой поражали прячущихся под камнями налимов. Жаль только, что фактически это в огромном большинстве случаев были не налимы, а лишь налимообразная мелкая, противная на вид, чёрная, скользкая рыбёшка с несоответственно огромной головой, называвшаяся нами «широколобкой».

Под камнем же любовались мы вёснами огромным в несколько сажен вышиной водопадом, низвергавшимся с прибрежных скал и вливавшимся затем в реку. Водопад – тоже одна из достопримечательностей Кузнецка. Местные кавалеры и дамы часто снимались на скалах под водопадом в «непринужденно-живописных» позах.

Очень мы любили также прогулку к «святому колодцу» за кладбищем – роднику с холодной и чистой, как слеза, водой. Там росло много кислицы, так называли мы красную смородину. Я ещё помню времена, когда колодец, расположенный в глухом, заросшем кустарником углу у

³ Хайруз – хариус.

подножия высокой горы и заключённый в старый полусгнивший сруб, сверху был открыт. Позже над колодецем сооружена была часовня, и туда совершались крестные ходы с молениями о прекращении засухи, иногда посещающей наш край.

Собирал я в Кузнецке гербарий. Собирал насекомых. Собирал птичьи гнёзда и яйца.

За границей – в Германии, Чехии – никогда не верили, если я, бывало, рассказывал о раздолье сибирской жизни и, в частности, о богатстве и великолепии сибирской флоры. Сибирь... лёд... снег... – и вдруг: пионы и орхидеи, дыни и арбузы! Правда, я знал только алтайскую, юго-западную Сибирь, но ведь и в Забайкалье флора – чудесная, недаром знаменитый Паллас восхищался в своё время склонами забайкальских гор, покрытыми рощами цветущих рододендронов.

Сибирские цветы, между прочим, ярче европейских, в том числе и альпийских. Почему? Объяснение этому явлению дал однажды в беседе со мной в Томске знаменитый путешественник по Монголии, естествоиспытатель, географ и этнограф, а позже глава временного Сибирского правительства Григорий Николаевич Потанин. Воздух в Сибири с её континентальным климатом суше, яснее, он свободен от паров, поэтому лучи солнца гораздо сильнее прогревают землю и более мощно воздействуют на мир растений.

Когда я был совсем маленьким, лет четырёх-пяти, вероятно, старшая сестра Лена, уже гимназистка 3-го или 4-го класса, нередко с воодушевлением рассказывала нам, мальчикам, о красотах и чудесах цивилизации губернского города Томска, куда она ежегодно уезжала на учёные:

– Окна у нас в гимназии – огром-

ные! Больше, чем наши двери. Если я встану на подоконник и протяну кверху руку, то не достану верхнего косяка!

Мы были подавлены таким величием гимназического здания. Но мне хотелось ещё что-то узнать.

– А цветы у вас в Томске растут? – спросил я у Лены.

– Да, растут.

– Такие же, как у нас? Или больше, красивее наших?

Лене, видимо, не хотелось снижать впечатление от своих рассказов.

– Да, больше и красивее! – с азартом провозгласила она. – Вот такие!

И она показала что-то очень высоко от пола.

– И много их?

– Очень, очень много!..

Тут в моём уме сложилось такое представление, что наши, кузнецкие цветы, все эти Марьины коренья, огоньки и кукушкины сапожки, которые мы с такой любовью собирали на горе, – ничто по сравнению с томскими цветами. И вот я воображал, что когда едешь из Кузнецка в Томск, то цветы, растущие по бокам дороги, становятся всё выше и выше, всё крупнее и крупнее, достигая, в конце концов, чуть ли не высоты деревьев. Эту фантастическую картину я долго хранил в своей голове вплоть до того времени, как в 1898 году сам отправился с матерью в Томск для поступления в 1-й класс гимназии. И хоть мне тогда было уже 11 лет, и я, казалось, мог бы уже трезвее смотреть на жизнь, я, как это ни смешно сказать, всё же был искренне разочарован тем, что мир растений по мере приближения от Кузнецка к Томску решительно ни в чём не менялся, а если и менялся, то, скорее, к худшему.

До сих пор я говорил всё о кузнецких ребятах и о детской психоло-

гии. Конечно, детям не могло быть плохо в Кузнецке. Но им, пожалуй, не было бы плохо и в любом другом месте. В самом деле, дети, ребята никогда не пропадут и никогда не потеряются. Жизнь бьёт у них ключом, и в любых условиях они сумеют проявить себя. Что касается взрослого населения города, то жизнь его была на редкость однообразна и патриархальна. Купцы торговали, учителя проводили положенное время на уроках, судья судил, податной инспектор собирал налоги, полиция скрипела перьями, что-то разрешала, чего-то «не допускала», и ничто, казалось, не соединяло этого общества, ничему высшему оно не служило, каждый жил и действовал за свой страх и риск.

Ежедневно по утрам проходил мимо нас в одну сторону на базар, а по вечерам возвращался назад торговец Матвей Фёдорович Недорезов, с конторской книгой, завёрнутой в красный платок, под мышкой. Мы уже знали: вот он идёт в свою лавку, а теперь – домой, к Недорезихе.

В положенный час, мягко постукивая рессорами, проезжал по улице шарабанчик Степана Егорыча Попова, тщетно пытавшегося спасти от скуки и медленного духовного и физического умирания свою красавицу-жену.

Вот проплывала, метя пыль шёлковыми юбками, дебелия и круглолицая купчиха Емельянова, или «Емельяниха», как её звали: это был её ежедневный короткий моцион. Бедная тоже почти умирала от скуки и бессмыслицы жизни и потому сильно пила втихомолку, запершись в своей комнате.

Так же в одиночестве и втихомолку пила другая пожилая купчиха – Медничиха. У той, впрочем, была ещё одна страсть: лечиться. Время от вре-

мени она даже ездила то в Томск, а то так и в Москву – на осмотр к врачам-знаменитостям. А по натуре была, кажется, неплохим человеком. Бывало, когда я заходил к ней с матерью, она иногда вдруг ни с того ни с сего дарила мне серебряный рубль. Но погибала просто от пустоты жизни.

Вот почти выживший из ума «дедушка» Лука Емельяныч Панов, тоже купец, владелец ренского погребца, отец трёх мальчиков – Яши, Бори и Кешки Пановых, наших товарищей. Обросший седыми волосами, неряшливо одетый. У этого – одна страсть: картишки. И так как долго и нестерпимо было ждать до вечера, когда можно было в клубе или у знакомых сразиться со взрослыми, то он бродил по городу в поисках партнёров-мальчишек, остановит каких-нибудь подростков, одного, двух и умоляет «перекинуться» с ним в тёмную, в дурачки, в стучолку – во что угодно. И смотришь, присядут где-нибудь на крылечке, на лавочке у ворот – и играют.

Мой крёстный отец, старый холостяк отставной крестьянский начальник Пеньков, сидел кикиморой, запершись в своей квартире, ни с кем не знался и даже рождественских и пасхальных визитов не делал.

Об одном из трёх-четырёх наших священников говорили, что он через забор лазил к своей любовнице.

О лучшем враче в городе известно было, что к нему надо попадать непременно до 11 часов утра, потому что после 11 он бывает уже безнадежно пьян.

По сравнению со всеми этими типами и характерами уже представителем прогресса казался молодой купец Суховольский – единственный велосипедист в городе. В пенсне, с подкрученными вверх усиками, в поддёвке тонкого сукна и с серебря-

ной цепочкой часов, он останавливался иногда около нашего дома, чтобы поболтать с сидевшими на лавочке. Подставит велосипед к палисаднику и увлечётся разговором со взрослыми, а в это время мы, дети, осторожно и благоговейно ощупываем пальцами упругие резиновые шины с прилипшими к ним песчинками и тонкие, но прочные проволочные спицы волшебной машины.

Самым драматическим лицом в городе являлся, пожалуй, Егорка Сарачёв, уже упоминавшийся мною скандалист, вор, пьяница и разбойник, ражий детина лет 26, никаким трудом не занимавшийся и половину своего времени проводивший по приговорам суда в кузнецком «замке». Этот жил безнравственно, но сильно. Одни спали в кузнецкой атмосфере застоя, другие бесчинствовали. О Егорке ходило много анекдотов. С особым удовольствием рассказывали некоторые из почтенных кузнецких граждан, как они избивали палками несчастного Егорку, подкарауливая его по ночам под окнами его любовниц: спугнут развратника, крепко постучав в дверь, тот кинется к окну, лезет и – попадает под удары целой толпы «блжустителей нравственности».

Один раз я видел Егорку Сарачёва на суде в нашем доме, по отъезде инженера Чемолосова снятом именно под камеру мирного судьи. Егора привели на суд из «замка», где он содержался в предварительном заключении, двое солдат. Обвинялся он в очередной краже. Зал суда, наш незабвенный зал с розовым полом «под паркет» был совершенно пуст. Если, конечно, не считать за зрителя и слушателя 12-летнего гимназиста, сына домохозяйки, забредшего из любопытства в первый раз на разбираемость дела в камере мирового судьи. Судьёй в то время служил у нас в

Кузнецке один только что окончивший университет молодой человек – идеалист, мечтавший, между прочим (как я это впоследствии случайно узнал), о том, чтобы сделаться писателем. Он и пробовал свои силы в писательстве, но... далеко не пошёл.

Я помню, какой внимательный взгляд бросил судья на притулившегося на последней скамейке гимназистика. Подумал даже: «Прогонит или не прогонит как несовершеннолетнего?» Но не прогнал. Напротив, ему кажется, показалось нелишним всерьёз разыграть всю процедуру «судоговорения» перед «юным слушателем»: дескать, а вдруг да что-нибудь ценное из сегодняшних впечатлений западёт в «юную душу» и даст плод?!

Странное дело, был я юн, но и тогда так думал, и сегодня на 100 процентов уверен, что молодой, неопытный судья разыгрывал передо мной комедию. Вполне искренно и убежденно, впрочем. Он подробно допросил Егора, установил все факты, а факты были серьёзные, – помнится, кража со взломом, да и ещё с угрозой насилием. И затем обратился к многоопытному подсудимому с увещательным словом на тему: необходимо сознаться и раскаяться.

Тут судья долго распространялся о нравственном значении раскаянья (а сам всё поглядывал на меня: вот, дескать, какой у нас в России суд замечательный!) и, наконец, о том, что сознавшегося и раскаявшегося суд карает гораздо снисходительнее, чем запирающегося в содеянном и не раскаивающегося. Он даже дал справку о предлагаемом размере наказания за Егорово преступление: «Вот, дескать, если вы раскаетесь, то закон определяет вам наказание в шесть месяцев, а если не раскаетесь, то в полтора года».

– Поняли? – спрашивал он Егора.

– Понял, – тупо отвечал Егор, видимо, уже очень хорошо сообразивший, какой тактики ему держаться с наивным судьёй.

– Так что же, вы раскаиваетесь? – продолжал допытываться судья милостивый.

– Раскаиваюсь, – так же тупо, равнодушно роняет Егор, склонив бледное лицо и исподлобья глядя на судью неподвижным, ничего не выражающим взглядом своих наглых, разбойничьих чёрных глаз. Долговязая фигура. Арестантская одежда. Вид покорности и какая-то скрытая сила тёмной, на всё способной души.

«И несколько-то ты не раскаиваешься! – подумал я, глядя на Егора. – А просто предпочитаешь отсидеть в остроге шесть месяцев вместо восемнадцати».

Но зато судья торжествовал. Удалился с довольным видом, потом через несколько минут вернулся, важно возложил на себя золотую цепь и изрёк свой «великодушный» приговор – тот самый, конечно, какой и нужен был Егору.

Отсидев шесть месяцев (частью покрытых предварительным заключением), Егорка вышел из острога и принялся за прежние свои штучки...

Но вот и на него пришла беда. Подравшись в Слободке с кем-то из своих соперников на любовной почве, Егорка был не только и не просто избит, но избит смертельно и, кроме того, вкось и поперёк исполосован ножом. Его без чувств подняли на улице и привезли домой. Короче говоря, пришёл конец Егорке. Смерть, долго его подлавливавшая, наконец-то приступила к парню вплотную и плотоядно обняла его за плечи: «Теперь ты мой, голубчик! Не вырвешься!..»

Услылав, что Егорку избили и

почти убили, я кинулся на задний двор нашего дома, а оттуда через забор к Сарачёвым. Там собралась целая толпа народа, были и другие ребята. Всем дозволялось беспрепятственно входить в дом, где в первой же комнате лежало, вытянувшись на бедной постели, длинное и почти бездыханное тело несчастного Егора, всё в перевязках, с кровоподтёками, синяками и ранами на бледном лице. Вокруг не было уже ни особых слез, ни суеты. Дело, видимо, считалось решённым.

Вдруг все расступились. Вошёл священник с «дарами»: исповедь.

– Прошу всех удалиться из комнаты! – раздался властный голос отца духовного.

Все, конечно, поспешили исполнить это приказание. Священник остался у Егора один, чтобы принять последние признания умирающего...

И что же бы вы думали? Что Егор умер? Ничего подобного! Исповедался, причастился, пролежал два или три месяца, а потом поднялся с одра болезни и зажил по-прежнему.

Так вот какая сила была в парне! А пропадала-то зря...

Не напрасно ли, однако, моя мать желала Кузнецку, чтобы он провалился в тартары? В книге Бытия говорится, что Господь Бог готов был простить Содом и Гоморру ради пятидесяти, ради сорока пяти и затем, в ответ на последовательные, униженные ходатайства Авраама, ради сорока, тридцати, двадцати и, наконец, ради десяти праведников. Пятьдесят, тридцать или десять «праведников» должны же были, конечно, найтись и в Кузнецке! И они были там.

Об одном таком «праведнике» мне хочется здесь вспомнить. Это был друг всех кузнецких детей, добрейшая душа Виктор Иванович Михеев, поручик, вместе со своим коман-

диром, стариком-подполковником, представлявший весь командный состав кузнецкого гарнизона, а именно – роты солдат. Виктор Иваныч (имя его знали все, но фамилию далеко не все) был офицером глушайшей провинции, и потому производство его по службе шло шагами самой престарелой и самой неповоротливой из черепах. Поручиком он стал чуть ли уже не в 35 лет и задержался в этом чине и в своей должности тоже на неопределенное время. Бодрости, однако, не терял и в обществе кузнецком состоял на положении молодого офицера, причём сам себя сознавал таковым и соответственным образом держался.

Он был довольно высок ростом, худ, в плечах узок, носил длинную, но не широкую, слегка раздвоенную на конце рыжеватую бороду и длинные, немного подкрученные кверху усы. Имел небольшой нехарактерный нос и очень добрые, спокойные, живо перебегавшие с предмета на предмет маленькие светло-карие глаза. Однако, как это ни удивительно, смеялся редко и сдержанно. Одевался исключительно в длинный, зимой – суконный, летом – холщёвый военный сюртук с золотыми погонами. Шпагу прицеплял редко. Ходил лёгкой, быстрой походкой и был со всеми одинаково обходителен и любезен.

Хотя Виктор Иваныч любил общество барышень и молодёжи, но никогда ни о каком серьёзном или совершенно несерьёзном романе его я не слышал. Никаких сплетен, никаких разговоров по этому поводу ни в мужском, ни в дамском кузнецком обществе не велось. Жил Виктор Иваныч холостяком, бобылём, как бы на биваках, с денщиком-солдатом в небольшой квартирке из полутора комнат в нижнем этаже каменного флигеля при доме Пановых, непода-

лёку от Базарной площади. Принимал у себя только мужскую молодёжь и детей, хотя сам вечно толкся в гости у своих знакомых, к которым принадлежал весь город.

Две самые ценные и характерные черты отличали нашего доброго и немного дон-кихотообразного поручика: это, во-первых, его любовь к детям и, во-вторых, пристрастие к фотографии.

Что касается фотографии, которой он занимался как любитель и притом совершенно бескорыстно, но в которой, однако, достиг значительного умения, то надо сказать, что В. И. Михееву принадлежит большое количество очень интересных снимков тогдашнего Кузнецка и его достопримечательностей, как-то: домика Ф. М. Достоевского (я позже коснусь пребывания Достоевского в Кузнецке), Крепости, водопада, церкви и других зданий, а также общих видов города: с Крепости, из-под горы и пр.

Из этих снимков многие сохранились до сих пор. Некоторые из них были опубликованы, и это очень ценно, потому что в настоящее время часть старых кузнецких зданий и сооружений, например, таких как Богородская церковь, в которой венчался Достоевский, уже не существует. Между тем, не будь Виктора Иваныча, никто бы сделать снимки с этих зданий и сооружений не догадался.

Характерно, что Виктор Иваныч никогда своих снимков не продавал. Он переснимал множество кузнецких граждан, особенно в разных живописных группах: у водопада, на пикниках и т. д., и охотно всем дарил эти снимки, не требуя даже возмещения расходов на материал и отнюдь не рассчитывая на какой бы то ни было реванш вообще со стороны своих заказчиков. Ему просто нравилось доставлять людям удоволь-

ствие, поскольку это находилось в его возможностях.

Любовь к детям у Виктора Иваныча была исключительная. При этом и она не выражалась в каких-либо особо сентиментальных формах. Виктор Иваныч держал себя с детьми просто как добрый, старший товарищ. Непринуждённо разговаривал с ними о том, что их занимало. Гуляя с ними по городу, снимал их поодиночке и группами и потом одаривал своими фотографиями. И в результате вечно был окружён детворой и подростками, мальчиками и девочками, которые тоже относились к нему как к «своему», как к старшему другу.

У Виктора Иваныча была одна милая манера радовать детей, которая их к бородатому поручику особенно и привлекала. Бывало, увидят его на улице издалека и уже бегут к нему: «Виктор Иваныч! Виктор Иваныч!»

А Виктор Иваныч спокойно приближается, потом останавливается, прячет обе руки за спину и спрашивает: «В которой руке?».

– В правой, в правой! – кричат дети.

Поручик вынимает из-за спины правую руку и разжимает пальцы: на ладони ничего нет.

– Пусто, – с разочарованием подтверждают дети.

Но поручик уже снова прячет руки за спину.

– Ну, а теперь – в которой руке?

И если отвечающий отгадывал правильно, то ему доставалась длинная мятная карамелька.

Этот фокус Виктор Иваныч повторял много раз в течение одного дня, воспроизводя его в любое время, при любой обстановке, при встрече с отдельными мальчиком или девочкой или группами их. Карманы его всегда были полны конфетами, и мо-

лодые сладёны радовались бесконечно. И, наоборот, никогда без этого «в которой руке?» Виктор Иваныч никого конфетами не оделял.

Говорят, что иной раз одна такая маленькая добродетель может на Страшном суде помочь даже очень запутавшемуся в сетях мирских соблазнов грешнику и спасти его в последний момент. И вот я думаю, что Виктор Иваныча, который и без того был порядочным человеком, в случае нужды могла бы спасти эта «все-детская конфетка».

С Виктором Иванычем мы, мальчики, встречались ещё на солдатских учениях, на площади у старых, деревянных, барачной постройки казарм, налево от кладбища. Тут, конечно, мы не смели его беспокоить и, по большей части, только наблюдали за его действиями и за ходом ученья, собравшись кучкой невдалеке, но иногда всё же, веря в доброту Виктора Иваныча, подходили к нему совсем близко, а бывало, и задавали вопросы.

Солдаты и солдатские ученья интересовали нас, конечно, и сами по себе, без Виктора Иваныча, и мы наблюдали за ними и тогда, когда офицера заменял фельдфебель. Нам нравились чёткие движения солдатской колонны, нравились примерные атаки – с криками «ура!» – на угол кладбища и особенно нравились дружные солдатские песни, с которыми солдаты по окончании ученья, раскрасневшиеся, вспотевшие и запылённые, уходили к себе в казармы.

«Вспомним, братцы, как стояли мы на Шипке в облаках», – пели они, или: «За Уралом, за рекой казаки гуляли», или: «Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке сизый селезень плывёт»... А мы бежали вслед за ними, стараясь не отставать и заглядывая в лица поющих... Детскому воображе-

нию (а оно очень правдиво) солдат вообще предоставляется не человеком, не просто – человеком, а особым существом, членом одного, общего солдатского или военного тела. Это-то нас и интриговало...

И всё же однажды мы пожаловались Виктору Иванычу, когда стали свидетелями жестокого обращения с солдатами со стороны фельдфебеля, исполнительного, злого, «подобранного» рыжеусого ловкача и гимнаста. За малейшую провинность фельдфебель бил солдат «по морде», а те, краснея и тужась, всё же вытягивались перед ним.

Виктор Иваныч подробно расспросил нас о наших наблюдениях, но никак по поводу их не высказался, и не знаю, вообще принял ли какие-нибудь меры. Не помню только, чтобы после этого поведение фельдфебеля заметным образом переменялось. Смещён он, во всяком случае, не был. Скорее всего, что побои и «добрейшим» Виктором Иванычем считались чем-то неизбежным в военном деле. Одно могу сказать: никогда мы не видели, чтобы сам Виктор Иваныч бил солдат.

Между прочим, не довольствуясь присутствием на обыкновенных солдатских «ученьях», мы неизменно присутствовали и на стрельбище, за кладбищем, когда солдаты учились стрелять в цель. Нравы в этом отношении были в Кузнецке настолько патриархальные (почти как в Белогорской крепости у Василисы Егоровны)⁴, что нас не отгоняли.

Любопытное зрелище представлял солдатский парад на площади перед собором в царские дни, когда после молебна в соборе появлялся

перед строем старичок – воинский начальник в золотых эполетах и в орденах и громким голосом поздравлял «ребят» с праздником. Потом дудел рожок, гремел барабан, и солдаты под музыку этого «оркестра» стройно шествовали в казармы, а мы, мальчишки, опять бежали за ними. Мне, кстати, бывало по пути: солдаты возвращались домой как раз по нашей Соборной улице.

Мне нравилось также, когда солдаты всем строем шли купаться на речку и, раздевшись на бережку, молодые, здоровые, мускулистые с разбегу кидались в воду и, весело переключаясь, плавали они во всех направлениях, ныряли, брызгались водой, отфыркивались.

Однажды я стал тонуть и уже был под водой. Тогда один из купавшихся в это время случайно солдат, великан по фамилии Забродин, забрёл с берега в воду (там, где подо мной разверзлась «бездна», ему было всего по грудь) и, подхватив меня одной рукой, как щенка, вынес из воды на берег. С каким благодарным почтением я, бывало, потом поглядывал на молодого, добродушного вида в сажень ростом парня, украшавшего правый фланг кузнецкой гарнизонной роты!..

Нечего и говорить, что мальчишками мы с товарищами много и усердно играли «в солдаты», проработав, как водится, подробно и систематически это подражание военному делу. Были у нас и командиры (особенно стройный и изящный мальчик – сын фельдшера Еня Токмаков, впоследствии певец, а после потери голоса талантливый артист драматической студии имени Комиссаржевской в Москве, также Яша Панов, впоследствии студент Петербургского университета, и другие), были и ордена, искусно вырезанные и склеенные из бумаги, развивалось преждевременно молодое

⁴ Речь идёт о персонаже повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» – жене коменданта Белогорской крепости Василисе Егоровне Мироновой.

тщеславие и соревнование, словом, картина, знакомая из собственного опыта, наверное, почти каждому из тех, кто прочтёт эти строки.

Так или иначе своеобразие военной жизни очень сильно действовало на юнцов.

Отдалённый, отчётливый бодрый звук солдатского рожка, разносящийся на заре в летнюю пору в чистом разрежённом горном кузнецком воздухе памятен мне, как одно из наиболее поэтических впечатлений детства и отрочества. Затаив дыхание, прислушивался я к нему с нашего тихого ещё в тот час большого двора...

Вернусь, однако, к общей массе кузнецких обывателей. Карты, конечно, играли огромную роль в жизни города. Водка – тоже. Ими и забывались – и интеллигенты, и купечество.

Имелся клуб, но и там кроме водки и карт, да разве ещё бильярда, на котором и играть-то мало кто действительно умел, ничего не было.

На моей памяти возникла в Кузнецке приблизительно в 1894–1895 годах общественная библиотека. Отец принимал какое-то участие в её учреждении: помню, как он собирал для неё книги, как возвращался с каких-то заседаний и рассказывал матери о том, насколько подвинулось вперёд дело с открытием библиотеки.

Два-три шкафа книг набрали. И подписчики нашлись. Позже гимназистом 3-го или 4-го класса я замечал иногда занятого чем-нибудь другим библиотекаря и выдавал книги. И сам брал и читал много книг из библиотеки. Постоянной подписчицей библиотеки была и моя мать, так что книги, и часто хорошие, прежде всего русские классики не переводились в нашем доме.

Было в Кузнецке кое-какое нерусское население.

Поляки, на вид как будто совер-

шенно обрусевшие, пользовавшиеся всеми правами и привилегиями граждан Российской империи, на деле держались, однако, в стороне от русских. Материально они жили, впрочем, не только не хуже, но гораздо лучше большинства привилегированного русского населения городка. Они или отцы их когда-то пострадали и были сосланы в Сибирь за свои политические убеждения, за борьбу с правительством, угнетавшим Польшу, и, однако, в ссылке быстро нашлись: занялись торговлей спиртными напитками. В Кузнецке их было всего три-четыре семьи, и почти все они были обладателями «ренсковых погребов», а одна из этих семей открыла в городе и пивоваренный завод.

С Красимовичами, Янковскими дружила чуть ли не одна только русская семья – Пановых, но, может быть, потому лишь, что и купец Панов, тот самый страстный картёжник, о котором я рассказывал, был тоже обладателем «ренского погреба» – «распивочно и на вынос». У Красимовичей был милый мальчик Буня с безразлично-вежливой улыбкой и с долгим, лошадиным, «аристократическим» подбородком. Я и братья могли бы быть ему хорошими товарищами, но... нас никогда в элегантно и по-европейски обставленный особняк Красимовичей на Базарной площади не звали. И объяснение этому факту, думаю, могло быть одно: мы являлись детьми русского чиновника, детьми врага. Лучше сойтись с купцом, но... не с чиновником: чиновники – представители государства, загубившего Польшу.

И надо сказать правду, что и русских не тянуло к полякам. Мой отец, например, презрительно называл кузнецких поляков: «водочники!».

И только гораздо позже, когда я

состоял уже в старших классах гимназии и в связи с деятельностью моей по устройству театра молодёжи, двери особняков Красимовичей и Янковских приоткрылись для меня. Должен сознаться, что я, сибирский медведь, поражён был приятным, непринуждённым, культурным током жизни этих семей и той обворожительной любезностью, с которой встречали в них всех гостей. В том-то и дело, что «водочники» в культурном отношении стояли гораздо выше местного городского населения. Коммерческая их деятельность, очевидно, была вынужденной. Основы их первоначального воспитания были другие, и готовились они, по видимому, к другому, более ответственному призванию. Помню хозяйку дома Красимович, мать Буни, высокую, представительную даму с толстой тёмной косой, обвинитой вокруг головы, – такой простоты и такого изящества манер я в Кузнецке ещё ни у кого не встречал. Подлинной красавицей была дочь Красимовичей – Зося: нежное, тонкое лицо, чудные тёмные глаза, осенённые длинными ресницами, коса до пят. Три красавицы-дочери – все, как и Зося Красимович, гораздо старше меня, украшали также польскую семью Янковских. Старшая потом вышла замуж за молодого врача поляка Годомского. Четвертая, маленькая Ядвига, только обещала развернуться в красавицу...

Эти юные, прелестные, стройные, изящные и тонколицые польки, действительно, были какими-то экзотическими цветками в нашем захолустье. Но – увы! – красота эта, кажется, никому или почти никому из них не принесла счастья, хотя бы по причине отсутствия выбора... польских, непременно польских женихов. Другое дело – смешанная полупольская и полурусская (по матери) семья Ада-

мовичей: эти жили и с поляками, и с русскими как со своими, и двое барышень Адамович скоро и удачно устроили свою судьбу, выходя за русских. Двое молодых людей Адамовичей, со своей стороны, тоже нашли себе русских подруг жизни.

Со всей семьей Адамовичей, и в особенности с барышнями Александрой и Надеждой, кстати сказать, особенно дружил поручик Виктор Иванович Михеев, и предполагалось, что он женится на одной из них, но предположения эти не оправдались. Добавлю, наконец, что всеприемлемый и всеприемлющий Виктор Иванович, единственный из служащих русских людей, охотно принимался и в чисто польских семьях Красимовичей, Янковских, Годомских. Но надо сказать, что и от этого знакомства он для себя лично ничего не приобрел. Напротив, и в польских семьях, как и в русских, он неизменно и совершенно естественно играл роль общего слуги и угодника в самом лучшем смысле этих слов.

Не знаю, какая судьба постигла наших поляков, «водочников» и аристократов, в позднейшие бурные годы. С 1914 года, когда я в последний раз был в Кузнецке, я ничего о них не знаю. Вот о старшем из братьев Адамовичей, Михаиле, слышал, что в одном из эфемерных сибирских правительств (в каком именно – не различаю) он занимал пост министра почт.

Упомянул я, между прочим, об еврее-аптекаре. Евреев, как и поляков, у нас в городе было очень мало, тоже три-четыре семьи. Отношение к ним было такое же, как и к русским. Они были менее изолированы, чем поляки. Характерно, что в детстве я даже не знал, что Гудовичи, Уманские – евреи. Об одном только аптекаре знал это: его семитический тип был слишком ярко выражен, а глав-

ное, познания в русском языке были чересчур ограничены.

Близкими приятельницами моей матери были сестры Эмилия и Глафира Марковны Гудович, перезрелые девицы, дочери торговца, жившие дома за два от нас по нашей Соборной улице. Эмилия, черноокая, бледная красавица, была певицей. Мы детьми любили в своей компании передразнивать Эмилию, как она, закатив очи и аккомпанируя сама себе на гитаре, пронзительным сопрано выводила: «Очи чёрные, очи страстные». Это был любимый её романс.

Судьба Эмилии была неожиданная. Её, еврейку, взял себе в жёны совершенно русский помощник кузнецкого уездного исправника Ващенко. Он понравился кому-то из томских губернаторов и был повышен на исправника, а потом шагнул ещё выше и сделался ни более ни менее как якутским вице-губернатором. Таким образом и Эмилия Марковна превратилась в важную губернскую (якутскую, впрочем) даму и вице-губернаторшу. Не знаю, певала ли она еще в далёком, холодном Якутске «Очи чёрные, очи страстные».

Старшая сестра Эмилии Глафира, вышла замуж ещё раньше её – не за администратора, а «нормально», за еврея-торговца из Томска. Глафира не пела и не располагала своими собственными чёрными очами. По типу она была совершенно русская женщина: небольшая кубышка с круглым лицом и с коротко остриженными русыми волосами. Вообще она была гораздо менее претенциозна, чем её сестра. Свадьба – по еврейскому обряду, о котором у нас в доме что-то много рассказывали, но только я мало понял, состоялась в нашем городе. Муж пожил некоторое время в Кузнецке, а потом по делам уехал надолго в Томск. Через год Глафира

Марковна забеременела (это я знаю теперь, тогда в свои пять-шесть лет я не знал этого). Врачи порекомендовали ей перед приближением родов больше ходить, а именно подыматься на Крепостную гору и гулять по её гребню. Глафира очень бы желала исполнить предписание врачей, но у неё не было кавалера для прогулок, а одной ей удалаться за черту города было как-то «неловко», «неудобно» или просто скучно. Тогда моя мать одолжила ей в качестве кавалера меня. Глафира обрадовалась, что «кавалерский кризис» разрешился, и в течение одного или двух месяцев мы ежедневно по утрам подымались с нею на Крепостную гору и, обойдя её, спускались для разнообразия другой дорожкой в город. Помнится, я даже какой-то подарок получил от Глафиры Марковны за своё кавалерство. А у нас в доме и свои, и чужие часто смеялись надо мной и говорили: «Смотри, Валя, как бы на ваших прогулках с Глафирой Марковной не стать тебе бабкой!» Я совершенно не мог оценить этой остроты: «При чём тут бабка?! Какая бабка?».

У Глафиры Марковны, между тем, скоро родился ребёнок, и горные прогулки, должно быть, сыграли свою роль, потому что роды были нетрудные и вполне благополучные.

Заговорив о нерусском элементе в кузнецком населении, я не могу не упомянуть также о немногих немцах, заброшенных к нам судьбой. Эти, впрочем, «заброшены» бывали не слишком несчастливо для них. Помню уездного исправника толстяка Фон Дитмара, державшегося, по меньшей мере, с губернаторской важностью и устроившего себе соответственный уровень жизни. Зимой он разъезжал по городу в нарядных санях на паре рысаков, покрытых голубыми сетками с кистями по краям.

Концы очень широких и длинных секток накидывались на передок саней: получалось очень шикарно. Даже у самого Степана Егорыча Попова такого заведения не было...

Помню немца – мирового судью, немца-ветеринара, добродушного и беспечального блондина, много пившего водки и вина, а ещё более пива. Трезвым я его никогда не видал.

И ещё представители одной странной немецкой корпорации посещали в годы моего детства Кузнецк. Это были бродячие музыканты, да не одиночки, а целые оркестры, и притом именно духовные оркестры. В один прекрасный летний, а иногда и зимний день к нам на двор вваливалась толпа человек из десяти, не очень молодых, краснолицых, красноносых и усатых людей, одетых в худые пиджачки или зимою в подбитые ветром зелёные широкие пальто и в зелёные поярковые шляпы с короткими полями и с пучками щетины сзади, выстраивалась полукругом, доставала из-под плащей флейты, корнет-а-пистоны и тромбоны и начинала «зажаривать» один за другим вальсы и польки, пока, наконец, не получала должную мзду и не переходила на соседний двор. Картина была поразительная, необычайная для Кузнецка! И опять-таки поразительно то, что баварцы, вюртембергцы или саксонцы докатывались в поисках куска хлеба через всю беспредельную Россию до нашего упрятого далеко от железной дороги в алтайских предгорьях городка. Очевидно, заработки в России и даже в Сибири были всё же выше, чем они могли быть в Баварии, Саксонии или Вюртемберге.

Иногда эти бродячие оркестры за плату по особому соглашению, разумеется, приглашались на танцевальные вечера в Общественное собрание, и тогда дудели добросовест-

но целый вечер польки, кадрили и вальсы, а молодёжь кузнецкая проявляла двойное усердие, чтобы натанцеваться всласть под громкие, а подчас и не очень стройные звуки игры чужеземных музыкантов. Звуки становились нестройными обычно в конце вечера, когда странствующие музыканты позволяли себе чересчур уж нализаться русской водки. Виноваты, впрочем, были не они, а слишком гостеприимные хозяева, как-то не отдававшие себе отчета в том, что если музыкант будет пьян, то становится пьяной и музыка.

Эти сцены опаивания немецких музыкантов я отлично помню.

Наконец, бродили ещё иной раз по нашему городу восточные наши соседи: китайцы. Это были торговцы шёлковыми материями. Тоже с тяжёлыми тюками на плечах обходили они дом за домом, раскладывали перед хозяевами свои богатства, предлагали, мерили, рядились, доказывали, советовали на ломаном русском языке и... тоже делали хорошие барыши. О «китайцах» после стали говорить, что это были просто японские шпионы, собиравшие сведения и о военном, и о хозяйственном положении страны. Может быть. Тогда этим никто не интересовался: китаец так китаец, пусть себе торгует.

Нас, детей, конечно, всё занимало в китаеце: и длинная, книзу – искусственная, нитяная коса – прежде всего, и узенькие глаза, и жёлтый цвет кожи, и юбка вместо штанов, и шишечка на маленькой круглой шапочке... «Хбдя, хбдя!» – кричали мы ему. Китаец не обижался.

И никогда-то, никогда никто у нас не попрекнул «куском хлеба» ни немца, ни поляка, ни еврея, ни китаецца. Люди – значит, имеют право на труд и на хлеб рядом с нами. Россия-матушка всех прокормит!